

Итальянские
новеллы

Итальянские
новеллы



1860~1914

Государственное
Издательство
Художественной
Литературы
Москва-Ленинград
1960

Границя

ДЕЛЕДА

КЛАД

В том году Джан Гавино Аливезу возделывал участок на берегу, у развалин церкви. Земля тут была плохая, и он жалел, что взял ее, хотя досталась она ему почти даром. Джан Гавино откатывал камни, корчевал пни мастиковых деревьев под жарким осенним солнцем, а к полудню уставал, с трудом выпрямлялся, держась за поясницу, и, глядя на зеленую линию моря, думал, что — как ни говори — нет лучшей жизни, чем у отшельников.

Говорят, жил тут один отшельник, было ему сто семь лет, и умер он здесь, вот в этих самых развалинах, а где именно — никто не видел. Джан Гавино был молод и простодушен, он старался работать осторожнее, чтобы не потревожить мощи.

«Да, — размышлял он, сгибаясь над мотыгой, — хорошо им, отшельникам! Какие у них дела? Никаких. Едят что бог пошлет, все равно как птицы. Спят и греха не знают. И здесь им хорошо и на том свете. Правда, богачи тоже ничего не делают. Зато грехов у них много. Которые подобрей и бога боятся, все равно в конце концов ищут бедности и одиночества — вот, например, старый адвокат дон Гавино Аливезу (он ему однофамилец, не родственник). Учился он, учился, деньгами сорил, мир объездил, а теперь живет один, из дому не выходит. Вон его дом, отсюда видно. Белый, высокий, что твоя колокольня, — вот над всеми крышами торчит».

Чтобы лучше взглянуть, низкорослый Джан Гавино, держась за поясницу, карабкался по камням и обожженным корням деревьев, Тяжело работать, однако — так уж бог велит.

Солнце скрылось за багряными облаками, каемка берега затянулась печальной сонной дымкой. Пора отдохнуть, подумал Джан Гавино. Спешить некуда, за богатством он не гонится, ни к чему. Жениться? Женщинам он не нужен, ни ума у него, ни красоты, ни дома. Был бы богат, пошли бы из-за денег, не по любви, а это грех. Да и мотовки они все. Говорят, отшельник этот как раз из-за женщины оставил свою Испанию и поселился тут. Дон Гавино хоть и адвокат, а тоже от них натерпелся, теперь их видеть не может даже на картинках. Принимает одних мужчин. Сначала к нему ходили по судебным делам, потом стали спрашивать, как уладить все миром, и постепенно он стал для них совестью, божьим человеком, который стоит над мирской суетой, никогда не солжет, а, главное, сохранит тайну и даст хороший совет. Женщины пойти не могли, но посылали к нему мужей, так что теперь деревенская знахарка потеряла почти всех своих клиентов.

Джан Гавино не знал его в лицо, в советах он не нуждался, а если что было нужно, обращался прямо к богу. Да и вообще в последнее время меньше говорили об адвокате-отшельнике. Людей теперь не так мучает совесть — наверное, меньше зла делают. Многие собрались в Америку, им паспорт нужен, бумаги чистые; словом, хочешь искать счастья — поневоле честным станешь.

Джан Гавино вспомнил о мудром старце просто потому, что представил себе, как они сидят вдвоем с тем, святым отшельником, на берегу у скал, под грохот волн, а над ними летают чайки и морские орлы. Он снова взглянул на море и вытянул мотыгу из твердой почвы. Вместе с комьями земли выкатилось что-то желтоватое, вроде расплющенного крупного зерна. Он поднял странный предмет, положил на ладонь, и вдруг колени у него подогнулись, словно его толкнули в спину. Золотой!

Все завертелось, море качнулось к деревне, деревня — к морю. Джан Гавино упал на колени; все качалось вокруг него, а он копал, рыл землю мотыгой и руками, и монеты всё лезли и лезли на поверхность, словно он наткнулся на целый родник золота. Он набил карманы, насыпал золота за пазуху, стал класть его у края ямы и все копал, копал, тяжело дыша. Он не уставал, он мог бы так копать всю жизнь, в темноте, скрючившись, обливаясь

потом, который заливал ему лицо, падал на землю и прожигал ее.

Наконец пошли темные черепки, рассыпавшиеся от прикосновения. Он все шарил в яме, погрузив руку по плечо, припав грудью к земле, повернув к западу искажившееся лицо. Потом, убедившись, что больше ничего нет, он сел на развороченную землю, положил золото между ногами и принялся складывать его в столбики, как ребенок. Монет было очень много, все золотые. Он почистил их землей, потер листьями, и они засверкали. Куда их спрятать? Он собрал черепки, попробовал их сложить, но испугался, что сходит с ума, и тяжело вздохнул.

Много дней он держал клад в кожаном мешочке — боялся, что украдут, а по ночам на нем спал (или, вернее, размышлял, что дальше делать, потому что теперь ему было не до сна). В деревню он не ходил — там впадешь в искушение, потратишь золотой, и все откроется, еще ограбят. Боялся он и правосудия. Он знал, что клад принадлежит не только хозяину земли, но и правительству; ему досталось бы очень мало, и все смеялись бы над ним. Боялся он и женщин — ну их совсем! Набросятся, как орел на ягненка. А больше всего боялся он родственников, у которых жил. Они вечно над ним потешались, ни во что не ставили, и теперь он хотел показать им (или себе самому), что и он хват не хуже других, а то еще и почище. Он почти не ел, чтобы растянуть запасы подольше и не идти в деревню. Работая, он привязывал мешочек к спине. Все-таки запасы истощились, пришлось идти. Тогда он внезапно решил сходить за советом к дону Гавино Аливезу.

Дом дона Аливезу был открыт для всех. Из заросшего дворика Джан Гавино поднялся по наружной лестнице прямо на верхний этаж, вошел, не постучавшись, в пустую комнату и остановился, задрал голову и разинув рот, совсем как Джаффа, дурачок из сардинской сказки, которому любящая мать бросала бобы из окна прямо в глотку.

Да, дон Гавино никому не откажет; но как же его повидать?

— Эй, кто там?

Сквозь люк в потолке спустили лестницу, и он вскарабкался по ней. Против ожидания, перед ним был не седовласый отшельник, а нестарый плотный бронет, писавший у открытого окна, через которое было видно все поле, вплоть до участка Джан Гавино.

Удивительнее всего было то, что в комнате оказалась женщина — очень высокая, могучая, хотя и бледная. Она стелила постель, но по знаку хозяина подобрала юбки и пошла к лестнице. Она была нездешняя; Джан Гавино несколько раз встречал ее на дороге, всегда верхом, но кто она и куда едет — не знал, потому что ему вообще не было дела до чужих. Что ни говори, дон Гавино Аливезу изменил свои взгляды на женщин.

— Ну? — спросил хозяин, слегка оборачиваясь, но не оставляя пера.

Джан Гавино открыл рот, но не смог ответить. Не мог, и все тут! Человек, сидевший перед ним, напомнил ему столько других — синдако, например, с которым он в родстве, доктора, самого судью. И что это он такое пишет? Джан Гавино вспомнил, как его вызывали свидетелем в Нуоро и он остановился у родственника. Вышел он как-то вечером подышать, посидел во дворе с какими-то барышнями и прислужгой и рассказал им одну историю. И что же? Одна из этих барышень записала ее, да и напечатала в газете! Прочитали ее и судья и учитель и потом смеялись над ним самим, да и над ней, а она приходилась тому родственнику дочкой.

Нет, не по себе ему с людьми, которые пишут.

— Итак? — терпеливо переспросил мудрый отшельник, пристально глядя на него живыми черными глазами. — О чем ты хочешь спросить?

— Да я вот... Вы уж простите... Вот хотел спросить... спросить вас хотел по эту женщину.

Он показал на люк и подмигнул. Хозяин легко, по-детски, рассмеялся, сверкнув белыми зубами.

— Так, так, понимаю, — сказал он, поворачиваясь к столу.

— Кто ж она такая? — настаивал Джан Гавино, фамильярно подмигивая хозяину.

— Она женщина хорошая, вдова... Ко мне она ходит по одному делу, за советом. И семья у нее хорошая. Если она снова соберется замуж — возражать не будут. А ты молодец! Хочешь, я ее позову?

— Да я уж сам, если позволите...

— Молодец, молодец. Ты пастух, или свое хозяйство есть?

— Пастух, — сказал Джан Гавино.

Он почему-то боялся этого человека, его черных пронизывающих глаз — ему казалось, что они видят все, даже мешочек насквозь видят.

— Дай вам бог, синьор, — торопливо пробормотал он, пятясь к люку.

От звуков имени божьего в сердце у него поднялась какая-то горечь. Он согрешил: солгал хорошему человеку — ему ведь совсем не было дела до этой вдовы. Внизу он увидел ее. Она стояла неподвижно у подножия лестницы и смотрела на него огромными глазами, словно ожидая. Ему показалось, что она слышала; он покраснел и еле кивнул ей, проходя.

Когда он возвращался к себе — с тревогой в сердце, с кожаным мешочком за плечами, — он снова встретил ее. Она крепко сидела на гнедой кобылке, спокойно глядя на дорогу. Поравнявшись с Джан Гавино, она придержала лошадь, сверху взглянула на юношу, и он снова покраснел. Так началось их знакомство. Она говорила приветливо и совсем не смеялась. Рассказала ему, что ездит одна по ночам и не боится; если нужно — надевает мужское платье. Как-то она повстречала разбойников, но кто на бога надеется, тому ничего не будет.

— Скажи, — спросила она, — почему ты про меня спрашивал? Какие у тебя намерения?

— У меня намерения честные. Только... раньше я тебя верхом видел, думал — ты поменьше. Мал я для тебя.

— Все мы перед богом равны.

Ни одна женщина не говорила с ним так; сердце у него билось все сильнее, даже отдавало в спину; а на спине был мешочек. И когда он вспомнил о мешочке, вернулось сомнение — может, она знает, и все это из-за денег?

Она уехала, он печально смотрел ей вслед. А ночью ему пришло в голову спрятать мешочек в какой-нибудь расщелине, где бывают только орлы. Если она вправду полюбит его такого, деньги можно будет взять. Он пошел к скале. Ночь была голубая, осенняя; золотой свет змеился по морю, а под скалой вода была тихая, матовая, как молоко. Он знал эти расщелины с детства; здесь

свивали гнезда орлы. Скоро он нашел подходящее место и спрятал свой мешочек. На обратном пути он спотыкался и проворочался без сна до рассвета. На заре он пошел за своим сокровищем. Все вокруг было залито алым светом; голубая вода под скалой была так спокойна, что отражала тень пролетающих птиц.

Только человек не знал покоя. Он искал и искал. Взошло солнце, а мешка все не было. Наконец ему показалось, что вдали желтеет какой-то предмет, вроде как бы зверек. Тогда он понял: орлы приняли мешочек за добычу, унесли его и бросили в море.

Он вернулся к себе — ждать, что женщина снова пройдет мимо. Но она не вернулась.

МУЖЧИНА И ЖЕНЩИНА

Пошел слух — неизвестно откуда, как и все слухи, — что эта старая женщина платит молодым людям.

Об этом болтали в тот осенний вечер на придорожной станции в Санта-Марга — километров за восемь от деревни, где она жила. Сюда стягивались окрестные слухи, и отсюда, словно корабельные крысы, они разбредались по свету на крестьянских возах, груженных углем и корой каменного дуба, на лошадях путешественников победнее, в почтовых дилижансах.

Жена смотрителя держала кабачок, где проезжие могли отдохнуть и поиграть в карты. Вот и теперь двое мужчин болтали за картами о старухе, которая дает деньги молодым людям.

— Почему не дать, если деньги есть. В займы, надо полагать, или по милосердию, — вставила тетушка Марга (так прозвали жену смотрителя). — Были бы у меня деньги, я бы тоже молодым давала. Если у старика ничего нет, значит никчемный был человек. Помогать надо молодым.

Мужчины засмеялись, не отрываясь от карт. Уж эта тетушка Марга! Ни людей не знает, ни света. Совсем дурочка. Вон примостилась в уголке, а платье грязное, старое, свалюсь, словно снова превратилось в необработанную шерсть.

— Я тоже молодой, тетушка Марга, а вы старая. Дайте мне скудо шестьдесят, поеду в Америку искать счастья. Ну-ка, давайте!

Партнер толкнул говорившего ногой под столом, тот поднял глаза и увидел, что в дальнем углу белеет циновка, а на циновке лежит парень в старых синих штанах и в шапке с козырьком — хозяйский сын.

Сын смотрителя и тетушки Марги спал, хотя было еще рано, — он спал всегда, даже днем, если отец не будил его. Но и во сне он не спустил бы оскорбления, не позволил бы задеть даже самого дальнего родственника.

Игроки закончили партию и тихо разговаривали, не решаясь, однако, прохаживаться на счет тетушки Марги. Она дремала, проснулась только к их уходу, получила деньги и положила в котелок, который стоял на колпаке очага.

Черные блестящие глаза ее сына сверкнули из темного угла. Он приподнял голову и сразу опустил, бормоча сквозь сон:

— Пора кончать, да, пора кончать.

Мать не обернулась, она привыкла, что он бормочет во сне. Не захлопнув двери, она пошла в соседнюю каморку — примоститься рядом с мужем, который давно храпел тяжелым храпом усталого человека.

Сын снова открыл глаза, выпростал руки и скрестил их на груди. В комнате никого не было. Свет погас, только головня тлела в очаге и угольки осыпались, словно лепестки красного цветка. Сквозь приоткрытую входную дверь потянуло ночной свежестью, запахом конюшни и влажной травы; за стеной жевали волы, вдалеке шумела вода.

Сквозь дрему он слышал весь разговор игроков и теперь припомнил его лениво, как волы, жевавшие траву во мраке хлева. Сон все еще баюкал его далеким лепетом струй в тишине теплой осенней ночи. В ушах у него все еще стоял приглушенный жаркий шепот младшего из игроков:

— Мне один парень говорил, из Соргоно. Он у нее работал, когда она дом строила. Дом ведь на нее записан. Она теперь за вторым замужем. Первый был богатый старик, а ее взял молодую и без приданого. Ревнивый был как пес и скупой, держал ее под замком лет двадцать и голодом морил. Умер он, она вышла за бедного, помоложе первого, — сама-то уж стареть начала, — но все ей было мало, и стала она заводить дружков. Муж ее бил, а ей что? Прогнала его из дому. Он все не отставал, грозился

убить. Уехала она из тех мест, приехала сюда к нам, лавку галантерейную открыла и начала это строить дом. Каждый день ходила на постройку. Смотрела она на камни и каменщиков не забывала — которые помоложе, все к ней в подол с лесов попадали, словно спелые яблоки... Говорят, немало золота она в этот дом всадила. И знаешь, чем она старше, тем больше за молодыми бегает, черт ее дер! Живет она теперь в новом доме — балкон железный, золотыми шарами украшен, а лавка на площадь выходит, и вывеска на дверях, будто в городе: имя стоит и фамилия — Онофрия Дау — на такой дощечке, как на распятии пишут.

Он решительно встал, зажег свет, подошел к очагу и заглянул в котелок, немного наклонив его, чтобы лучше рассмотреть. Потом потянул носом, словно в котелке была пища; медные монеты и вправду смахивали на варенные бобы, а несколько серебряных лир белели, словно сырые бобы.

Он постоял немного у очага, пересчитывая глазами деньги; потом взял котелок за ручки — как снимают пищу с огня, — толкнул ногой дверь, вышел на луг и, опустившись на колени, высыпал монеты в носовой платок; туго стянул концы платка и тронулся в путь.

Узелок был тяжелый и твердый, словно гирия. Гиспарру шагал по светлой дороге через темные поля, под золотыми далекими звездами Большой Медведицы. Дорога шла вниз, и ему казалось, что в черном небе, осыпанном звездной пылью, горит золотой крест, а на кресте начертано: «Онофрия Дау».

Далекий шум воды, ржание коней, влажный запах ночной травы шли рядом с Гиспарру.

«Ну вот, — думал он, — сейчас половина девятого. Таким шагом к десяти дойду. Возьму я двадцать скудо — да уж не меньше — и прямо в порт. Уеду куда-нибудь подальше, на Корсику, а то и в Африку, здесь не останусь. Не буду я зрителем! Целый день рассыпай по дороге гравий, чтоб другим удобней было ехать! Осел я, что ли? Пускай отец работает, если ему нравится, а я не буду! А не выйдет — пойду обратно, деньги верну. Ну, шагу, Гиспарру Лоддо! Шагай!»

И он шагал, строил планы, радовался, перебрасывая узелок из руки в руку, словно апельсин. Не выйдет — ни сольдо не возьмет, все деньги обратно положит, часа через три. А выйдет — ну, тогда он уедет и оттуда сразу же напишет матери. Прощения попросит и вышлет ей первый же заработок.

В глубине души Гиспарру прекрасно знал, что он — просто лоботряс и отец от него давно ничего не ждет, но ему хотелось оправдаться перед самим собой.

«Раз ты лентяй, значит нужно тебе переменить жизнь. Туда нужно уехать, где есть для тебя подходящая работа. Шагай, Гиспарру Лоддо!»

Он шагал — свернуть было некуда. Каждый шаг приближал его к цели, как в жизни каждый шаг приближает к смерти. И чем дальше он шел, тем яснее различал на чистом черном небе причудливые очертания холмов; ему казалось даже, что в конце дороги он различает дом, окруженный железным балконом.

Но чем ближе он подходил к деревне, тем сильнее сомневался в успехе предприятия. Он принялся думать об этой незнакомой женщине — жирная, наверное, расплывшаяся, грудь свисает на живот, глаза у нее черные, довольно злые, а над толстой выпяченной губой — темные усики. В общем, богатая старуха. Он таких много видел — вот в сентябре, например, в Ильин день. Они не прочь поразвлечься, хотя с виду и не подумаешь! В конце концов не такие уж они противные. Для него, во всяком случае. Вернее — ни противные, ни приятные, потому что, если подумать, все женщины для него одинаковы — красотки они или уродины, молодые или старые.

Он вошел в пустую деревню. Все было тихо, только лаяла собака; в подвальном окошке горел свет; он заглянул, туда, проходя, и увидел больную женщину на деревянной кровати и девочку у ее изголовья.

И мысли его внезапно изменились — он сам не знал почему. Ему стало не по себе, будто темнота перед ним сгустилась после того, как он увидел маленькое освещенное окно.

Время от времени другие окна, другие приоткрытые двери освещали ему путь. Улица упиралась в площадь, на другой стороне ее стоял дом Онофрии Дау. Вон он прямо перед ним на фоне холмов — сероватый, в оже-

релье золотых шаров, вот он — закрытый, молчаливый и непонятный, как сама жизнь.

Сердце Гиспарру тревожно забилося, словно он поднялся против течения до самых истоков реки. Он стоял твердо и упорно, но волны сбивали его с ног и сердце колотилось от страха.

Он пересек площадь и постучался в дверь, на которой было написано «Онофрия Дау». Ему говорили, что она не держит прислуги — ей так удобнее, — и он понял, что это она сама, когда на балконе появилась темная фигура и спросила, кто он и зачем пришел.

— Я Гиспарру Лоддо, из Санта-Марга, смотрителя сын. Откройте, у нас мать заболела, надо теплое одеяло. Воспаление легких.

Он чуть не фыркнул — очень уж по-детски это вышло. Но женщина скрылась, в доме послышались шаги, и он сразу стал серьезен.

«Наверное, там кто-то есть, — подумал он, — а то бы не отперла сразу. Так и убить могут. Вот я, например, мог бы убить ее и ограбить. Убили же вчера невестку доктора Лечис».

У него снова застучало сердце, дурные мысли заворшились в мозгу и взмокли ладони. Открылась дверь. Высокая, красивая женщина стояла перед ним; ее белое лицо светилось, как у мадонны, черная повязка ореолом окружала его, в длинных синих глазах отражался свет лампы, — и сразу вместе с темнотой бежали страх и зло. Гиспарру понял, что не убьет и не продается.

Он даже не посмел спросить, действительно ли она — Онофрия Дау. Он только увидел, что пол в прихожей чист и светел, как ее лицо, и тщательно вытер ноги, чтобы не осквернить дом пылью пройденного пути.

Женщина шла молча. В конце коридора, у входа в лавку, она протянула ему лампу.

— Туда не возьму, пожара боюсь. Подожди меня тут, сейчас принесу одеяло.

Он держал лампу в одной руке, узелок — в другой. Из открытой двери пахло свежим полотном и душистым мылом. Он увидел, как хозяйка легко вскочила на стул и взяла с полки сверток в синей бумаге. Потом слезла, развернула пакет на скамье и вынесла одеяло — желтоватое в красную полоску.

— Подойдет? Поставь-ка лампу на ступеньку. Вот сюда. Как же это она простыла? Жарко ведь.

— Ну, как простужаются, — серьезно ответил он, разглядывая одеяло.

В эту минуту он верил, что мать действительно больна и ей нужно хорошенько пропотеть.

Женщина развернула товар, чтобы показать как следует, и заглядывала в глаза покупателю: доволен ли он? А ему казалось, что она смотрит ему в глаза и улыбается своими красными губами, чтобы его обольстить.

— Ты пощупай, на вес попробуй — самая лучшая шерсть. Поставь-ка лампу пониже.

Он поставил лампу на третью снизу ступеньку, пощупал одеяло, прикинул на руке, потом молча помог ей сложить его.

Чудовищные тени двигались на потолке, передразнивая мужчину и женщину.

— Ну как?

— Хорошее. Сколько возьмешь?

— Двадцать две лиры. Тебе уступлю за двадцать, раз такое дело. А доктора позвали? Подожди, сейчас за верну.

Последние слова донеслись из лавки. Хозяйка расстелила большой лист синей бумаги и ловко заворачивала в него одеяло. Мужчина нагнулся за своим узелком, и кровь бросилась ему в голову. Он вышел из оцепенения, мрачная ярость охватила его. Не даст он так себя обдурить! Мать копила монету за монетой, и так вот по-дурацки все выбросить?

Потом стало обидно. Его надули, она не старая, не платит она мужчинам, это они ей платят за улыбку. Люди его обманули, наговорили на нее. Ему захотелось схватить ее, ударить свертком. Он вошел в лавку и сразу увидел мужчину — слугу, конечно, — который примогнулся у стены между скамьей и дверью. Гиспарру вышел осторожно, как вор. Страх был сильнее ярости. Уйти бы поскорей, деньги спасти — но стыд был сильнее страха. Женщина снова стояла перед ним, протягивая синий сверток.

Тогда он попытался спасти хотя бы то, что принадлежит ему по праву, а если сможет — больше.

— Ему красная цена двенадцать лир, — проговорил он и тут же пожалел, что не сказал «десять».

Она сердито взглянула на него, и лицо ее мгновенно постарело.

— С ума сошел, сынок! Оно мне самой в двенадцать лир встало. Как же я отдам за двенадцать?

Он пристально смотрел на нее. Их разделяли только свертки. Да, она старая. Сразу вернулись все дурные мысли, он улыбнулся ей и заглянул в глаза.

— Не хочешь — не надо. Прости, что побеспокоил. Поздно сейчас... да вот мне говорили... говорили мне...

Он смотрел ей в глаза пристально, внушая свою мысль. Прошли и стыд и страх — нужно было только, чтобы она поняла.

Она не понимала или не хотела понять. Она знала одно — нельзя продешевить. И, наклонив голову набок, прикасаясь щекой к синему свертку, она снова, почти не надеясь, кокетливо взглянула на Гиспарру.

— Ну, давай шестнадцать лир. И то четыре лиры скинула, раз такое дело.

— Не могу я, — говорил он, отступая. Но она шла за ним, совала пакет ему в руки.

— Бог с тобой, бери за двенадцать, отдам уж для больной.

Он чуть не закричал, но испугался — а ну как услышит тот мужчина! Что ж, материнские деньги не пропали. Шерстяное одеяло — вещь хорошая.

Он наклонился к светлому полу (так наклонялся он раньше к темной траве), развязал узелок и отсчитал серебряные монеты. Их было ровно двенадцать. Потом сердито, не глядя, протянул их женщине. Она положила сверток на пол и принялась пересчитывать деньги, а он завязывал свой узелок.

ПЛАТЬЕ ВДОВЦА

Они ехали не спеша. Телегу тащили маленькие сонные волю; жена то привставала, то снова ложилась — ей нездоровилось, ехать быстро было нельзя.

А муж был здоровый, красивый, молодой, румяный, даже слишком румяный, когда краска заливала его высокий лоб до самых волос, спутанных и покрытых пылью. Он багровел по любому поводу — и от гнева и от радости — и становился еще красивей, а черные, ясные глаза его блестели как у ребенка. И улыбка у него была детская, зубы ровные, чистые, как полоска слоновой кости. Рядом с ним жена казалась старушкой, но и в ней было что-то детское, — лицо у нее было тонкое, темное, а ресницы — иссиня-черные и такие длинные, что казалось, ей трудно поднять веки. Но когда она их поднимала, огромные печальные глаза изумленно глядели на мир, словно вбирая все, что в нем есть красивого; они оживали, наполнялись светом, и все лицо внезапно светлело и молодило.

Может быть, именно поэтому муж, шагавший рядом с телегой, чтобы не слишком трясло, наклонялся к жене и говорил:

— Джула, Джула, ну, взгляни на меня! Что ты молчишь? Спать хочешь?

Джула медленно поднимала веки и возобновляла прерванную беседу. Но все уже было переговорено, она быстро уставала, снова опускала ресницы и отдавалась мерному, тяжелому покачиванию телеги. Да, ей хотелось

спать, ей казалось, что она в колыбели или в лодке и что все это сон — и прошлое, и настоящее, и будущее.

Чтобы не напекло майское солнце, они повесили простыню с одной стороны телеги. От этого повозка, тащившаяся вверх по голубоватому гравию и по густой траве дикого плоскогорья, и вправду казалась лодкой, с трудом преодолевающей морские волны. Ощущение это усиливал полный круг горизонта в голубой дымке. Восточный ветер гнал серебристые облака по горячему небу. Когда ветер стихал, все останавливалось — куда ни глянь, только кустарник да камни, камни да кустарник.

Дорога незаметно поднималась. Вдали, в конце белой дороги, на фоне бегущих облаков показалась черная точка. Дул горячий ветер. Джула приподнялась в телеге и жадно вдыхала прозрачными ноздрями чистый горный воздух — воздух прошлого, воздух молодости и любви.

— Джула, Джула, ну как ты там? Хватит тебе хмуриться! Все спать хочешь? Мы уж на полдороге. Бабушка, надо думать, разводит огонь и сыпет зерно в котелок, чтобы пожелать нам с тобой счастья. Джула, мы на полдороге. Вон, смотри, каменный столб!

Но Джула опустила приподнявшиеся было веки, и он замолчал.

Через несколько шагов ему как будто захотелось ей что-то сказать. Он покраснел, опустил глаза, потом потрянул головой, отгоняя прихлынувшую кровь, и стал глядеть вдаль, вперед, на черный предмет, который все рос, словно собирался стеной перегородить дорогу. Женщина тоже повернула голову, медленно, очень медленно, и смотрела вдаль. Оба думали об одном и том же, пряча друг от друга лицо, чтобы скрыть мысли. Что-то давило их, как будто и вправду дальше пути не было.

Там, у каменного столба, ровно год тому назад нашли изувеченный, раздетый труп богатого вдовца, который сватался за Джулу. Она была тогда здоровая, крепкая, воспитывала пятерых своих братьев и могла одна просеять муку, замесить и испечь хлеб из трех мер ячменя. Вдовец этот жил по соседству; ему нужна была как раз такая жена, чтобы стряпать, печь хлеб для прислуги и смотреть хорошенько за домом — словом, недорогая преданная служанка. Когда он умер, Джула взяла двух бра-

тьев, отправилась в город и нанялась к другому богатому хозяину. Он не был вдов — его жена, красивая женщина лет пятидесяти, носила десятого ребенка. Семеро работников (считая братьев Джулы) едва управлялись с хозяйством — со стадами, свиньями, лошадьми и рощами пробкового дуба.

В хлопотах и в шуме этого дома Джула чувствовала себя поначалу как в открытом море. Скрипу колыбели вторил мерный скрип жернова; парни то и дело толкали ее на бегу. Эта непрерывная беготня прекращалась только к ночи. Потом хозяйка дала ей определенную работу, и однообразие этой работы отгородило ее от остальных. День и ночь она просеивала ячменную муку и пекла хлеб для прислуги. Осенью, под тихий звук просеиваемой муки, она пела одни и те же четыре строчки, и так заунывно, что ослик, вертевший жернов, засыпал на ходу. Чтобы его разбудить, другая работница высовывала голову из кухни, где баюкала ребенка, и выкликала в ответ другие четыре строчки. Белое от муки лицо Джулы прояснилось, она удивленно поднимала веки и стряхивала сон. С трудом припоминала она другие стихи и запевала местную песенку:

В час, когда звезда восходит,
Выйди, милая, к окошку
Перемолвиться словечком
С милым другом...

Ослик спотыкался во сне, и вторая работница голосила еще громче:

В час, когда звезда восходит,
Лис вокруг деревни бродит.
Ты не спи, старик седой,
Коль женат на молодой.

Да, не уснешь в этом доме ни днем, ни ночью. По ночам пекли хлеб, его запах проникал всюду вместе с мерным стуком лопаты, которой сажали хлебы в печь, вместе с трескотней женщин, сидевших на полу и торопливо разминавших серые ячменные лепешки. Джула их пекла. Она осунулась и поблекла. Вредно дышать ячменной мукой, а пламя горячей печи — неумолимо, ровное пламя — опалет лицо и грудь женщины, скрючившейся на полу, чтобы способнее было сражаться с хлебом, который вздувается, шевелится, ходит, словно живой; оно сжигает

и пожирает, особенно если женщина эта снедаема и другим огнем, борется и с другими врагами.

Джула не знала сна, ее знобило, она смотрела в глубь печи, и глаза ее отражали пламя. Но вместо больших тускло-серых хлебов она видела тускло-серые камни, много-много камней на плоскогорье, обогренном зловещим светом заходящего солнца. И круглая печь с низким отверстием напоминала ей каменный столб, где нашли изуродованное тело.

Так чахла она день за днем; и вот однажды прежний ее друг передал через брата, что хочет на ней жениться. Он не был богат, как тот, вдовец. Он был козопас, сирота, как она сама, и вырастила его старушка, которую он звал бабушкой. Хозяйство у него было маленькое, он обходился без слуг и без лошадей. Джула сможет отдохнуть, и родной горный воздух вылечит ее.

Она отказала. Двое братьев, которые пасли стадо у ее хозяина, и трое других, которые тоже работали в городе, пришли к ней, чтобы ее уговорить. Они смотрели на нее все пятеро, как в детстве, когда ждали куска хлеба, или другой пищи, или воды. Тогда она согласилась.

Жених приехал, справили свадьбу, и вот он увозит ее к себе на телеге, устланной папоротником и сеном. Они поговорили обо всем — о соседях, о хозяевах, о ее братьях, которые, кстати сказать, убрали по старинному обычаю маленьких сонных волов, тянувших брачную повозку: на рога воткнули апельсины, на слабые трясущиеся шеи повесили гирлянды барвинков; они наговорились и теперь молчат, глядя на каменный столб, к которому ведет поднимающаяся вверх дорога.

У полуразвалившегося каменного столба они остановились. Это была самая высокая точка плоскогорья, отсюда было видно море. Печальное место — заросли ежевики, камни, словно тут сражались великаны; и все же все останавливались здесь, особенно в жару — это было единственное тенистое место на открытом плоскогорье. Остановились и Джула с мужем.

Он снова стал веселым, каким она знала его много лет назад — по-детски, по-звериному веселым. Лицо у него

разгорелось, глаза блестели то нежно, то жестоко, как у расшалившегося мальчишки. Он говорил громко, но голос его терялся в тишине; эта тишина пугала Джулу, для нее еще не замолкли звуки хозяйского дома; ей казалось, что она на вершине горы, в час покоя, когда ветер уснул и облака дремлют на горизонте в колыбели моря. И далекий мир, деревня наверху, город внизу, хозяева, слуги, богатые и бедные, людские законы — исчезли.

Джула слезла с телеги и оправила юбки. Она была маленькая, но ладная, хотя и очень худая; потом развязала платок, открыв белую в голубых жилках шею, и тяжелая коса упала ей на плечи — золотистая, порыжевшая от печного жара. Он взглянул на нее и вздрогнул.

— Джула, — спросил он, вытаскивая мешок, — помнишь?

Они улыбнулись друг другу. Это был самый счастливый миг их первого дня.

— Ну, попируем, — сказал он, вынимая еду из мешка. Они уселись на землю среди золотых кустов Ивановой травы и приступили к трапезе.

Он брал ее руку и сжимал все сильнее, улыбаясь мясистым ртом, сверкая зубами. Заставил выпить вина, хотя ей не хотелось. Потом поцеловал в губы, чтобы осушить следы напитка.

— Теперь бы нам спеть, да не с кем. Мало гостей у нас на свадьбе!

Он встал и поглядел кругом, чтобы убедиться, что они одни. Она смотрела на него снизу; он был такой высокий на голубом фоне неба, и ей все казалось, что это сон. В голове звучали песни, которые она пела там, внизу, под мерный звук жернова, и казалось, грубый голос напарницы сейчас разбудит ее.

— Не с кем нам петь. Сироты мы с тобой, Джула, — сказал он, опускаясь на землю рядом с ней, прижался к ней и, как ребенок, положил голову ей на колени. Теперь она смотрела на него сверху; материнская нежность переполняла ее, но лицо бледнело все больше. Сердце стучало все сильнее, сильнее, а он сжимал ее руку и поднял голову, чтобы взглянуть на нее, — сердце стучало все сильнее, словно кони неслись по дороге, вот они уже близко, еще ближе, сейчас растопчут. Он притянул к себе ее голову, словно хотел сказать ей на ухо важную тайну.

— Джула, помнишь, как мы в первый раз поцеловались? Это ведь здесь было. Тебе пятнадцать стукнуло, а мне семнадцать. Тут ваше стадо паслось, мы пришли стричь овец. Помнишь, пташечка моя, а? И сосед ваш тут был, он еще не овдовел и о тебе не думал. Что ж ты не хочешь меня поцеловать? О нем вспоминаешь?

Джула перестала качать головой и опрокинулась навзничь. Губы ее задрожали, лицо посинело, и под закрывшимися глазами легли черные тени.

— Джула, Джула... — испуганно повторил он, поднимая ее. — Взгляни на меня.

Она открыла глаза, улыбнулась и заплакала. Тогда его снова охватило ребяческое веселье, он сел рядом с ней, дергал за косу, чтобы она засмеялась, поцеловал в шею, пересчитывал пальцы, притворялся, что хочет украсть кольцо. Он болтал о соседях, о ее братьях, о бабушке, которая их заждалась, кофе наварила, поставила угощение для родных и друзей; и об одной женщине, что сватала ему богатую хромую старуху, за которой давали сорок коров и три улья.

— Не надо мне ульев, вот он — мой улей. Ах, покушали меня твои пчелки! Зато сколько меду, сколько меду, пташечка ты моя! Посмотри на меня, Джула! Ты больше не сердисься?

Она молчала, смотрела ему в глаза пристально, как смотрела некогда в печь. Лицо ее понемногу белело, а потом порозовело от поцелуев; она была хороша, как десять лет назад. Он встал на колени, обнял ее, поднял и понес в развалины, чтобы укрыть от безлюдья и тишины.

Джула была как мертвая — мертвая от счастья и от страха. Ей казалось, что кони пронеслись над ней, растоптали ее. Только голос остался, чтобы спросить.

— Козма, сердце мое, вот мы поженились. Ты меня взял, можешь мне все сказать, — зашептала она, кладя ему на плечо растрепанную голову, — это ты его убил? Скажи. Мы теперь одна плоть, я тебя не предаю. Скажи, я ведь сердцем чувю.

Он поднял лицо, и они снова посмотрели друг на друга. Она смотрела на него жадно, испуганно, с надеждой (так смотрит человек на краю пропасти), призывая

спасение и зная, что его нет. И он смотрел на нее: он знал, что все кончено, но пропасть влекла его.

— Да, — сказал он наконец. И закрыл глаза.

Она не крикнула, не шевельнулась.

— Козма, сердце мое, зачем ты его раздел, зачем ты его изувечил?

— Он сам ограбил меня, он меня изувечил, тебя отнял. И ты меня ограбила, изувечила, бросила меня, потому что я бедный, а он богатый... Вот почему.

— А где его платье?

— Я здесь спрятал, в развалинах. Вот здесь, — сказал он, поворачиваясь, чтобы поискать взглядом место. А когда обернулся к ней, увидел, что лицо ее опять посинело и глаза закатились, словно хотели спрятаться.

— Джула, Джула!

Он вскочил, поднял ее, понес к телеге. Положил на траву и пальцами опустил веки — очень страшно было смотреть на эти белые, невидящие глаза.

Он не плакал, не кричал, но не решался положить ее в телегу и ехать в деревню в своей праздничной одежде. Так просидел он весь день; закат обагрив кровью кусты и камни; исчезла тень столба, все стало тенью вокруг мертвой женщины. Он смотрел на нее, и ему казалось, что она наконец заснула после стольких тяжелых ночей, разметав по траве косы, сложив натруженные руки.

— Почему ты его выбрала? Что ж он, лучше меня? — спрашивал он и думал о старой бабушке — вот она ждет, приготовила кофе и угощение, а придется ей шить ему платье вдовца.

Он почувствовал вечернюю сырость и подумал, что это повредит бедной Джуле. Тогда он поднял ее в последний раз, положил в повозку, покрыл простыней, спустив ее вроде крыла. Снял с волов апельсины и цветы и положил рядом с женой; потом впряг волов, но все не решался ехать.

Стемнело; луна поднялась над развалинами, и он увидел позади себя черную тень. Вот и он вдовец, но нет у него ни слуг, ни богатства, ни сыновей. Однако незачем бабушке зря трудиться. Он вернулся в развалины, порылся, достал платье вдовца, положил его в мешок у ног умершей и повез в деревню. Телега тряслась, свет луны

дрожал, и мешок ерзал, словно в нем был живой ягненок. И Козма думал: все, что случилось в этот день, послано богом как возмездие за то убийство. Да, это бог внушил ему спрятать тут вещи, потом взять их и носить в знак наказания.

Действительно, люди вспомнили, чье это платье. Он сознался и был осужден.

КОГДА ДУЕТ ВОСТОЧНЫЙ ВЕТЕР

По старому сардинскому преданию тело скончавшихся под рождество нетленно во веки веков.

Об этом и шла беседа в доме Диддино Фрау, богатого крестьянина, и Пьетро Таска, будущий его зять, спросил:

— А на что это? К чему нам тело, если мы умерли?

— Ну как же, — ответил хозяин, — это милость господня. Вот придет страшный суд, а тело твое целехонько. Хорошо ведь, а?

— Кто там разберется! — скептически сказал Пьетро.

— А знаешь, зятек, — воскликнул дядюшка Диддино, — не сложить ли нам про это песню?

Надо сказать, что дядюшка Диддино славился как поэт-импровизатор. Он был рад любому поводу, чтобы вызвать на состязание менее способных певцов. Свой дар он унаследовал от отца и деда.

— Ой, — с кокетливой гримаской (ведь на нее смотрел жених) заметила Мария Франциска, — про такое грустное петь!

— Ну, тише там! А то спать погоню! — прикрикнул отец.

Он был человек грубый, хотя и поэт, и семью держал в страхе. Семья почитала его и боялась. При отце Мария Франциска не посмела бы даже сесть рядом со своим Пьетро, — согласно местному обычаю, жених и невеста держались на почтительном расстоянии. Приходилось кокетничать издалека красотой и легкостью движений, живописным рядом алого домотканого сукна, а больше всего — блеском голубых глаз, больших и удлинненных, как спелый миндаль.

Был сочельник. День выдался серенький, пасмурный, но теплый — восточный ветер нес далекое, беспокойное тепло пустыни и влажный запах моря. Казалось, в горах, где зеленеет холодная зимняя трава, и в долине, где рано расцветший миндаль небрежно отряхивает снежинки лепестков, горит огромный костер: пламени его не видно, но жар достигает селения. Облака сгущались на вершинах и стлались над горами, словно дым от этого костра. Звенели колокола. Люди, растревоженные горячим ветром, ходили по улицам и думали, как бы получше справиться сочельник. Семьи дарили друг другу поросят, осенних ягнят, говядину, сласти, сушеные фрукты. Пастухи посылали хозяевам первое молоко, и хозяйки отдавали их — наполнили кувшин доверху овощами: не дай бог вернуть пустым — плохо для скотины!

Пьетро Таска был пастух. Он заколол лучшего поросенка, освежевал его, окрасил кровью свиную шкуру и послал невесте. Невеста дала серебряный скудо женщине, которая принесла подарок, а в корзину поставила банку варенного в меду миндаля.

Вечером жених пришел в дом Фрау и тайком пожал руку Марии Франциске. Она зарделась, засмеялась от радости, но руку отняла и обнаружила в ладони золотую монету, согретую его пожатием.

Она побежала по дому тайком показывать всем чудесный подарок Пьетро.

За окном весело звенели колокола, а восточный ветер далеко разносил металлический звон по влажному и теплому вечернему воздуху.

Пьетро надел в этот вечер старинный — еще средневековый — местный наряд: камзол из голубого бархата, короткий черный плащ домотканого сукна, украшенный искусной вышивкой и филигранными золотыми пуговицами, узорный кожаный пояс.

Черные волосы, смазанные оливковым маслом и тщательно расчесанные, падали ему на уши. Он уже отведал анисовой водки, черные глаза его блестели, красные губы улыбались из зарослей черной бороды. Он был красив и могуч, как сельское божество.

— Добрый вечер, — сказал он, садясь рядом с тестем к очагу, где горел ствол падуба. — Дай всем господь еще сотню сочельников справиться. Как вы сегодня?

— Мы, старики, что коршуны без когтей, — отвечал хозяин, который начал стареть и весьма о том сокрушался, и прочитал знаменитые стихи:

Когда человек стареет, плохо ему на свете...

Тогда и заговорили о рождественском предании.

— Вот сходим к мессе, — сказал дядюшка Диддино, — потом поужинаем хорошенько, а потом и споем.

— Спеть и сейчас можно.

— Нет, — возразил хозяин, ударяя палкой по камням очага. — Матерь божья мучается родами, и нам не подобает ни петь, ни есть. Добрый вечер, Маттиа Портолу! Присаживайся да расскажи, кто еще к нам собрался. Мария Франциска, неси вино. Поднеси-ка нашим ягняткам!

Девушка разлила вино и, поднося жениху сверкающую рубинами чашу, опьянила его улыбкой и взглядом. Новый гость перечислял друзей, которые собирались прийти.

Женщины хлопотали у очага, сложенного посредине кухни. С одной его стороны расположились мужчины, с другой — шластряпня: жарилась на вертеле половина поросенка, подаренного женихом. Легкий вкусный дым наполнял комнату. Пришли еще двое — братья, старые холостяки (они не женились, чтобы не делить имущество), похожие на патриархов, седые, длинноволосые, длиннобородые. Потом пришел молодой слепой, ощупывая стены и пол тонкой олеандровой палкой.

Один из братьев взял за талию Марию Франциску, повернул ее к жениху и сказал:

— Что это вы, ягнятки? Почему сидите так далеко, словно звезда от звезды? Возьмитесь за руки да обнимитесь!

Жених и невеста обменялись пылким взглядом, но дядюшка Диддино загремел:

— Ну ты, старый баран! Не нужны им твои советы!

— Знаю. И твои тоже. Они сами сговорятся, — ответил старик.

— Сговорятся — выгоню парня из дому, — отрезал хозяин. — Вон, как ос выгоняют. Мария, вина!

Девушка высвободилась из рук старика, раздосадованная и смущенная, а Пьетро сказал, улыбаясь:

— Так. Нельзя, значит, песни петь, и мясо есть, и еще кое-что... Ну, а пить можно?

— Все можно делать, ибо велик господь, — тихо сказал слепой, подсаживаясь к жениху. — Слава господу в небе и мир на земле добрым людям.

Стали пить и пили немало. Звенели колокола. Крики и песни летели по ветру. Только Пьетро почти не пил. В одиннадцать все встали, чтобы не опоздать к ночной службе. В доме осталась древняя бабка; она слышала когда-то, что мертвые навещают родных в ночь под рождество, и каждый год выполняла старинный обряд: ставила им тарелку с едой и стакан вина. И теперь, как только все ушли, она поставила еду и вино на ступеньках наружной лестницы, которая вела из дворика во второй этаж. Сосед перелез через забор, выпил вино и поужинал.

Вернувшись из церкви, молодые и старые весело сели ужинать. На пол положили большие холщовые мешки, поверх расстелили домотканые льняные скатерти. Домашние макароны дымилась в больших мисках красной и желтой глины, а на деревянных тарелках красовались ломти поросятины, ловко нарезанные Пьетро и прожаренные в самый раз.

Сидели тоже на полу — на циновках и на мешках. Яркое пламя очага освещало розовым светом лица пирующих — совсем как трапеза гомеровских героев. А сколько пили!

После ужина хозяин велел женщинам удалиться. Мужчины сели у очага и начали состязание. Лица у них побагровели, глаза слипались от сытости, но все же блестили.

Начал старый хозяин.

— Скажи, — запел он по-сардински,¹ — скажи мне, зятек, что, по-твоему, лучше — обратиться в семь щепоток жалкой пыли или найти свое тело нетленным в день страшного суда.

Пьетро поправил берет и ответил:

— Невеселая это песня, — пел он, — вспомним о другой: споем о любви, о радости, о прекрасных Венерах... о добрых, о веселых вещах.

Всем понравился его языческий ответ, но старый певец рассердился и спел, что, мол, противник просто не

¹ В Центральной и Южной Сардинии говорят не на итальянских диалектах, а на сардинском языке — самостоятельном языке романской группы.

хочет ответить, потому что не умеет слагать песни на высокие темы.

Пьетро снова поправил берет и снова запел по-сардински:

— Ну, ладно, я отвечаю. Не по душе мне твоя песня, невеселая она, не хочу я думать о смерти, да еще в такую ночь, но, если хочешь, скажу: какое мне дело, сгниет мой труп или нет? Что мы после смерти? Ничто. Пусть будет тело здоровым и сильным при жизни, чтобы трудиться и радоваться... вот и все!

Хозяин опять ответил ему. Пьетро защищал радости жизни, старики поддакивали, даже слепой радостно кивал. Хозяин представлялся сердитым, но в душе был доволен — вот как хорошо складывает песни его будущий зять! Даст бог, не уронит семейной чести!

Стремясь доказать тщету плотских радостей, дядюшка Диддино пил сам и подливал другим. Часам к трем пополуночи все были пьяны. Только слепой, который пил лучше всех, и Пьетро, который выпил меньше других, сохраняли ясность мысли.

Но Пьетро был опьянен успехом и вздрагивал от радости, вспоминая, что ему вечером обещала Мария Франциска. Постепенно слабели голоса певцов. У хозяина заплетался язык; Пьетро притворялся, что засыпает. Наконец все уснули, один слепой не спал и грыз набалдашник своей палки.

Во дворике пропел петух.

Пьетро открыл глаза и взглянул на слепого.

«Не увидит», — подумал он, осторожно встал и вышел из комнаты во внутренний дворик.

Мария Франциска тихо спустилась по наружной лестнице и упала в его объятия.

Слепой прекрасно понял, что кто-то ушел; он даже подумал, что это, наверное, Пьетро, но не шевельнулся — только пробормотал:

— Слава господу в небесах и мир на земле добрым людям.

А за стенами дома луна скользила меж прозрачных облаков, и в серебристой ночи горячий восточный ветер нес запах моря и жар пустыни.

ГРАЦИЯ ДЕЛЕДДА

(1875—1936)

Литературная деятельность Грации Деледды начинается в последнее десятилетие XIX века, когда на смену веризму приходят другие литературные направления и школы. Несмотря на это, все ее творчество проходит под знаменем веризма.

Деледда родилась в Нуоро, в Сардинии. Уже в 1891 году она опубликовала первый сборник рассказов «Королевская любовь» («Amore regale»), за которым последовал роман «Цветок Сардинии» («Fior di Sardegna», 1892). Эти произведения написаны скорее в романтико-приключенческом, чем в веристском духе, в них еще мало подлинно сардинского колорита.

В 1900 году Деледда уезжает из Сардинии в Рим. Новые встречи и впечатления, более широкое знакомство с итальянской и иностранной литературой расширяют кругозор писательницы: Деледда становится убежденной веристкой. В своих произведениях она изображает жизнь родной Сардинии того времени, продолжая традиции Верги и Капуаны, сумевших с неподдельной простотой и искренностью рассказать о судьбах тогдашней Сицилии.

Между Сицилией и Сардинией было много общего: та же отсталость экономических и общественных отношений, патриархальный уклад, старинные обычаи и представления, которые сохранялись в Сардинии с еще большей консервативностью.

Деледда написала несколько сборников новелл: «Сардинские рассказы» («*Racconti sardi*», 1894), «Искушение» («*Le tentazioni*», 1899), «Шутки жизни» («*I giuochi della vita*», 1905), «Дед» («*Il nonno*», 1908), «Спрятанный мальчик» («*Il fanciullo nascosto*», 1915) и др. В своих рассказах Деледда рисует жизнь затерянных в горах и лесах деревушек и городков. Изображая различные классы сардинского общества, живущие, в общем, по одним и тем же традициям и законам, писательница уделяет преимущественное внимание жизни народа: бедным крестьянам, пастухам, служанкам, нищим. Именно они, по ее мнению, сохраняют в большей степени связь со стариной. Деледда изучает героев и их психологию в тесной связи со средой. Вся жизнь крестьян проходит на лоне природы, вдали от общества. Крестьянин как бы сливается с окружающей его природой, поэтому пейзаж является составной частью рассказов Деледды. В понятие «пейзаж» входят не только причудливые горы, бескрайние леса, дикие пастбища, но и животные и птицы, окружающие крестьянина в его повседневном труде. Природа у Деледды одухотворена: растения и животные живут своей особой жизнью, они наделены «разумом», и поэтому крестьянин может «разговаривать» с ними на древнем языке заклинаний. В полном слиянии человека с природой Деледда видит связь с глубокой стариной. В показе этой внутренней связи между героем и пейзажем заключается глубокий лиризм произведений Деледды.

Деледда показывает, что у этих «диких» натур любовь, ненависть, ревность или месть проявляются непосредственно, с неудержимой силой, и тогда они действуют не рассуждая, покоряясь охватившему их чувству. В своей повседневной жизни они руководствуются традициями и законами предков — им нет надобности обращаться к правосудию, ибо они живут как бы вне законов цивилизованного общества и сами творят суд и расправу.

В сознании крестьян действительное переплетается с фантастикой, реальная жизнь — с древними легендами. Поэтому среди рассказов Деледды встречаются народные сардинские сказки. Духи и феи, герои старинных легенд и бандиты являются для крестьян чем-то реальным и близким. Древние языческие представления уживаются с христианской верой.

Деледда пишет на литературном языке, употребляя отдельные сардинские слова:

Слава Деледды как бытописательницы Сардинии, мировая известность и присуждение ей Нобелевской премии в 1926 году в большей степени основана на ее сардинских романах: «Старик в горах» («Il vecchio della montagna», 1900), «Элиас Портолу» («Elias Portolu», 1903), «Пепел» («Ceneri», 1904), «Плющ» («L'Edera», 1904), «Тростник на ветру» («Canne al vento», 1913), «Марианна Сирка» («Marianna Sirca», 1915), «Мать» («La madre», 1920) и др. Если новеллы Деледды — очерки, «бодзетти», то романы — широкие полотна сардинской жизни того времени. Деледда описывает быт разных классов — от разоряющихся господ, цепко держащихся за старинные традиции, до бедных крестьян и связанных вассальной зависимостью слуг. На фоне красочного сардинского быта разыгрываются сцены любви и ревности, измены и преступления, борьбы долга с любовной страстью и т. д.

В своих романах Деледда показывает, что капиталистические отношения все настойчивее вторгаются в патриархальный уклад Сардинии, порождая тягу к обогащению, стремление к неизвестному. Сардинцы покидают родной остров в поисках богатства и лучшей жизни. Столкновение древней цивилизации с цивилизацией современного буржуазного общества часто приводит к трагическим последствиям. Счастлив тот, кто возвращается «неиспорченным» к родным камням, и несчастья ожидают того, кто отказывается от старины и стремится жить «по-новому». Деледда разрабатывает, в общем, ту же проблему, что и Верга в романе «Семья Малаволья».

Деледда писала также и пьесы из жизни Сардинии; большинство их является переделкой ее романов.

ГРАЦИЯ ДЕЛЕДДА

Клад. <i>Перевод Н. Трауберг</i>	569
Мужчина и женщина. <i>Перевод Н. Трауберг</i>	575
Платье вдовца. <i>Перевод Н. Трауберг</i>	582
Когда дует восточный ветер. <i>Перевод Н. Трауберг</i>	590

ИТАЛЬЯНСКИЕ НОВЕЛЛЫ
1860—1914

Редактор *Н. Снеткова*
Художественный редактор
Л. Чалова
Технический редактор
М. Кондратьева
Корректор *Э. Урицкая*

Сдано в набор 14/XII 1959 г.
Подписано к печати 26/XII
1959 г. Бумага 84 X 108¹/₃₂ —
23,625 печ. п. = 38,75 усл. печ. л.
Уч.-изд. л. 38,748. Тираж
75.000 экз. Зак. № 136.
Цена 11 р. 70 к.

Гослитиздат
Ленинградское отделение
Ленинград, Невский пр., 28

Ленинградский Совет народ-
ного хозяйства. Управление
полиграфической промышлен-
ности. Типография № 1
«Печатный Двор»
имени А. М. Горького
Ленинград, Гатчинская, 26